

Бори Пастернак “Несколько положений”

Альманах “Современник” 1922 г.

Несколько положений

1 Когда я говорю о мистике, или о живописи, или о театре, я говорю с той миролюбивой необязательностью, с какой рассуждает обо всём свободомыслящий любитель.

Когда речь заходит о литературе, я вспоминаю о книге и теряю способность рассуждать. Меня надо растолкать и вывести насильно, как из обморока, из состояния физической мечты о книге, и только тогда, и очень неохотно, преодолевая лёгкое отвращение, я разделю чужую беседу на любую другую литературную тему, где речь будет идти не о книге, но о чём угодно ином, об эстраде, скажем, или о поэтах, о школах, о новом творчестве и т. д.

По собственной же воле, без принуждения, я никогда и ни за что из мира своей заботы в этот мир любительской беззаботности не перейду.

2 Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда как оно – губка. Они решили, что искусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и насыщаться.

Они сочли, что оно может быть разложено на средства изобразительности, тогда как оно складывается из органов восприятия.

Ему следует всегда быть в зрителях и глядеть всех чище, восприимчивей и верней, а в наши дни оно познало пудру, уборную и показывается с эстрады; как будто на свете есть два искусства и одно из них, при наличии резерва, может позволить себе роскошь самоизвращения, равную самоубийству. Оно показывается, а оно должно тонуть в райке, в безвестности, почти не ведая, что на нём шапка горит и что, забившееся в угол, оно порождено светопрозрачностью и фосфоресценцией, как некоторой болезнью.

3 Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести – и больше ничего.

Токование – забота природы о сохранении пернатых, её вешний звон в ушах. Книга – как глухарь на току. Она никого и ничего не слышит, оглушённая собой, себя заслушавшаяся.

Без неё духовный род не имел бы продолжения. Он перевёлся бы. Её не было у обезьян.

Её писали. Она росла, набиралась ума, видала виды, – и вот она выросла и – такова. В том, что её видно насквозь, виновата не она. Таков уклад духовной вселенной.

А недавно думали, что сцены в книге – инсценировки. Это – заблуждение. Зачем они ей? Забыли, что единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас.

Неумение найти и сказать правду – недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть. Книга – живое существо. Она в памяти и в полном рассудке:

картины и сцены – это то, что она вынесла из прошлого, запомнила и не согласна забыть.

4 Жизнь пошла не сейчас. Искусство никогда не начиналось. Оно бывало постоянно налицо до того, как становилось.

Оно бесконечно. И здесь, в этот миг за мной и во мне, оно – таково, что как из внезапно раскрывшегося актового зала меня обдаёт его свежей и стремительной повсеместностью и повсевременностью, будто это: приводят мгновение к присяге. Ни у какой истинной книги нет первой страницы. Как лесной шум, она зарождается бог весть где, и растёт, и катится, будя заповедные дебри, и вдруг, в самый тёмный, ошеломительный и панический миг, заговаривает всеми вершинами сразу, докатившись.

5 В чём чудо? В том, что жила раз на свете семнадцатилетняя девочка по имени Мэри Стюарт и как-то в октябре у окошка, за которым улюлюкали пуритане, написала французское стихотворение, кончавшееся словами:

Car mon pis et mon mieux
Sont les plus désert lieux.*)

В том, во-вторых, что однажды в юности, у окна, за которым кутёжничал и бесновался октябрь, английский поэт Чарльз Альджернон Суинберн закончил «Chastelard'a», в котором тихая жалоба пяти Марииных строф вздулась жутким гуденьем пяти трагических актов.

В третьих, в том, наконец, что когда как-то раз, тому назад лет пять, переводчик взглянул в окно, он не знал, чего ему удивляться больше.

Тому ли, что елабужская выюга знает по-шотландски и, как и в оный день, всё ещё тревожится о семнадцатилетней девочке, или же тому, что девочка и её печальник, английский поэт, так хорошо, так задушевно хорошо сумели рассказать ему по-русски про то, что по-прежнему продолжает волновать их обоих и не оставило преследовать. Что это значит? – задался переводчик вопросом. Что там делается?

Отчего сегодня так тихо (и ведь вместе так выюжно!) там? Казалось бы, по тому, что мы туда посылаем, там должны бы истекать кровью. Между тем – там улыбаются. Вот в чём чудо. В единстве и тождественности жизни этих троих и целого множества прочих (свидетелей и очевидцев трёх эпох, лиц биографии, читателей) – в заправдашнем декабре неизвестно какого года, который гудит и сипнет там, за окном, под горой, в ... искусстве. Вот в чём оно.

6 Существуют недоразуменья. Их надо избежать. Здесь место дани скуке.

Говорят – писатель, поэт...

Эстетики не существует. Мне кажется, эстетики не существует в наказание за то, что она лжёт, прощает, потворствует и снисходит. Что, не ведая ничего про человека, она плетёт сплетню о специальностях.

Портретист, пейзажист, жанрист, натюрмортист? Символист, акмеист, футурист? Что за убийственный жаргон!

Ясно, что это – наука, которая классифицирует воздушные шары по тому признаку, где и как располагаются в них дыры, мешающие им летать.

Неотделимые друг от друга поэзия и проза – полюса.

По врождённому слуху поэзия подыскивает мелодию природы среди шума словаря и, подобрав её, как подбирают мотив, предаётся затем импровизации на эту тему.

Чутьём, по своей одухотворённости, проза ищет и находит человека в категории речи, а если век его лишён, то на память воссоздаёт его, и подкидывает, и потом, для блага человечества, делает вид, что нашла его среди современности. Начала эти не существуют отдельно.

Фантазируя, наталкивается поэзия на природу. Живой действительный мир – это единственный, однажды удавшийся и всё ещё без конца удачный замысел воображения. Вот он длится, ежемгновенно успешный. Он все ещё – действителен, глубок, неотрывно увлекателен. В нём не разочаровываешься на другое утро. Он служит поэту примером в большей ещё степени, нежели – натурой и моделью.

7 Безумье – доверяться здравому смыслу. Безумье – сомневаться в нём. Безумье – глядеть вперёд. Безумье – жить не глядячи. Но заводить порою глаза и при быстро поднимающейся температуре крови слышать, как мах за махом, напоминая конвульсии молний на пыльных потолках и гипсах, начинает ширять и шуметь по сознанию отражённая стенопись какой-то нездешней, несущейся мимо и вечно весенней грозы, это уж чистое, это во всяком случае – чистейшее безумье!

Естественно стремиться к чистоте.

Так мы вплотную подходим к чистой сущности поэзии. Она тревожна, как зловещее кружение десятка мельниц на краю голого поля в чёрный, голодный год.